

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ  
ЭПИСТОЛЯРНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ  
В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА

*Лаура Росси*

В последние двадцать лет в ряде работ, посвящённых эволюции русской литературы или творчеству отдельных авторов второй половины XVIII – начала XIX вв., переписка писателей уже не является исключительно источником документальной информации, а выступает как самостоятельный предмет литературоведческого анализа. Письма рассматриваются „as a literary genre” (Todd 1976) или „как явление литературы” (Лазарчук 1972), играющее важную роль в процессе становления „новой” русской прозы (Макогоненко 1980; Бухаркин 1982).

Зачинателем этого направления исследований единогласно признаётся Ю. Тынянов. Примечательно, что этому вопросу он не посвятил ни одной специальной работы, а оставил ряд пронизательных замечаний в статьях *Литературный факт*, *О литературной эволюции*, *Ода как ораторский жанр* и др. Письма играли важную роль в его теории о смене литературных течений как о смене противоположных „конструктивных принципов” и о бытовых, околотитулярных формах как о материале, где, „в эпоху разложения центральных, главенствующих течений” (Тынянов 1977: 262), „новые принципы конструкции” находят „самые податливые, самые лёгкие и нужные явления” (*там же*, 265).

В виде примера Тынянов приводил карамзинскую эпоху, эпоху „разрушения грандиозной лирики”, когда именно „недоговорённость, фрагментарность, намёки, «домашняя»» малая форма письма мотивировали ввод мелочей и стилистических приёмов, противоположных «грандиозным» приёмам XVIII века”, и поэтому „из бытового документа письмо поднимается в самый центр литературы”, „бывшее документом, становится литературным фактом” (*там же*, 265).

Именно дружеской переписке карамзинской и пушкинской эпох как литературному явлению (переписке К.Н. Батюшкова, А.И. Тургенева, П.А. Вяземского, В.А. Жуковского) по-

священы работы последователей Ю. Тынянова, его ученика Н.Л. Степанова (1926, 1964) а, начиная с 1960-х гг., всё более возраставшего количества учёных. Для нас здесь особенно важны труды Р.М. Лазарчук (1969, 1971, 1972, 1977, 1979). Исследовательница раздвинула хронологические границы рассматриваемого явления, показывая, что письма „вмешались” в литературу уже в 1760-ые, а особенно в 1770-ые и 1780-ые годы (письма А.Т. Болотова, Д.И. Фонвизина, М.Н. Муравьёва, В.В. Ханькова, Н.А. Львова и др.).

Доказательством нового статуса частного письма XVIII столетия в современной науке явилась публикация сборника *Письма русских писателей XVIII в. (Письма 1980)*, порождающего в свою очередь ряд новых работ по данной теме (Бухаркин 1982; Teteni 1983).

Но, несмотря на важные фактические результаты всех этих исследований, нельзя не отметить, что теория литературного факта, как и другие литературоведческие понятия, сформулированные Ю. Тыняновым, „став обиходной”, пройдя через серию толкований, уточнений, пересказов, „в настоящее время утратила ту ясность и свежесть, которые характерны для тыняновского понимания” (Золян 1988: 24), и незаметно приобрела новые черты.

Приведём несколько примеров. Уже в 1926 г. Н.Л. Степанов уделяет внимание не „принципам конструкции”, а языковому аспекту писем, так что „историко-литературный смысл дружеского письма” он видит во „вливании в книжный традиционно-литературный язык элементов интеллигентски кружковой устной речи” (Степанов 1926: 101). В работах Р.М. Лазарчук письмо как литературный факт и литература составляют уже одно целое, континуум, в котором развиваются одни и те же процессы. При этом, по мнению исследовательницы, „письмо нередко «забегало» вперёд литературы. Со свойственной ему непосредственностью и быстротой реакции оно улавливало зреющие конфликты, проблемы века, «схватывало» в жизни новый сентиментальный тип сознания и мироощущения и стихийно отражало их прежде, чем они становились предметом художественного исследования в прозе” (Лазарчук 1972: 4). „Письмо ускоряло процесс становления сентиментализма в русской литературе, было одной из первых глав его” (*там же*, 18).

Как видим, здесь речь идёт прежде всего о принципах восприятия и воспроизведения действительности, о „веяниях”, охватывающих в равной мере эпистолярную и художественную прозу, но при этом жанр письма в рассуждении исследователя утрачивает свою специфику. Нам кажется, что Ю. Тынянов, наоборот, рассматривал письмо как отдельный жанр, со своими специфическими, „исконными” конструктивными принципами, которые в определённые эпохи становятся актуальными для литературного развития, а в другие не играют в нём никакой роли.

В своем предисловии к книге *Письма русских писателей XVIII века* Г.П. Макогоненко не мог обойти теорию о письме как литературном факте, хотя бы для того, чтобы поставить её под сомнение. Опираясь на выводы Р. Лазарчук, учёный указывал на некоторые действительно уязвимые пункты, такие, как неточное определение хронологических границ процесса и явное упрощение литературной сцены конца XVIII века. Его изложение идей Ю. Тынянова, однако, было крайне тенденциозным, искажало и обедняло мысль теоретика формализма, как будто он, в поисках определения „условий, при которых возможно вторжение бытового письма в литературу” (Макогоненко 1980: 26-27), сделал вывод, что „сама возможность превращения письма из бытового документа в литературный факт определена сентиментализмом” (*там же*, 24).

Дело в том, что для советского учёного было важно не столько „иначе, историчнее, объяснить... теоретические основы” этого процесса (*там же*, 26), сколько отстоять первенство „содержания”, притом содержания, отличающегося „широтой освещения социальной действительности, острой публицистичностью, гражданским и сатирическим отношением к описываемым явлениям” (*там же*), над любого типа изошрёнными формальными конструкциями.

Любопытно, однако, что и учёный, исходящий из других положений и вносящий существенные, серьёзные коррективы в тыняновскую теорию, А.Л. Зорин, как будто разделяет прочтение, данное Г. Макогоненко. В своей рецензии на сборник *Писем* он не только подтверждает мнение о литературном характере сумароковских и муравьёвских писем, но, отдав дань заслуженному авторитету Тынянова, возражает ему, подчёркивая, что на самом деле „письма... занимают

важное место почти во всех основных литературах *до зарождения сентиментализма*” (Зорин 1981: 262, *курсив мой*, Л.Р.)<sup>1</sup> и что вообще „едва ли правомерно считать активные взаимоотношения литературы и литературного быта только принадлежностью определенных эпох” (*там же*).

Сами по себе эти замечания совершенно справедливы, и мы будем их учитывать, но от внимания учёного ускользает тот факт, что у Тынянова приведённый случай является лишь *примером*, пожалуй, наиболее наглядным, тех постоянно активных взаимоотношений литературы и литературного быта, о которых и идёт речь в статье *Литературный факт*. Даже если учесть только письмо, то из слов критика никак не следует, что условия, способствующие превращению бытового письма в литературный факт, не могли бы осуществляться в другом историко-литературном контексте<sup>2</sup>.

Кроме того, если пользоваться такими формулами как „превращение бытового письма в литературный факт” или „выход письма в литературу” (Бухаркин 1982: 15), то не следует забывать, что на самом деле Тынянов описывает более сложную ситуацию: „письмо, оставаясь частным, не литературным, было в то же время и именно потому литературным фактом огромного значения. Этот литературный факт выделил канонизированный жанр... литературной переписки», но и в своей чистой форме он оставался литературным фактом” (Тынянов 1977: 266).

Но здесь нас не интересует природа письма как такового, а та *общая картина развития русской прозы конца XVIII в.*,

---

1 „Не случайно именно писатели-классицисты, как английские, так и французские, широко печатали свою частную переписку” (Зорин 1981: 262).

2 Не случайно М. Бахтин, восприняв, кажется, указание Ю. Тынянова, применил его схему к древнеримской эпохе. В статье *Античная биография и автобиография*, из серии *Формы времени и хронотопа в романе* (1937-1938), он истолковал возникновение жанра дружеского письма, и в частности писем Цицерона к Аттику, как реакцию нового самосознания „приватного” человека на „омертвевшие” „публично-риторические формы” (Бахтин 1975: 293).

которая вырисовывается в результате анализа советских работ, посвященных нашей теме.

Как отметил В. Тодд, письмо в них уподобляется лаборатории, где писатель проводит свои стилистические и жанровые эксперименты (Todd 1976: 14)<sup>3</sup>. Так, Р. Лазарчук называет письмо „школой стиля” и „художественной лабораторией” (Лазарчук 1972: 12), подчёркивая, что „в конце XVIII в. письмо стало своеобразной лабораторией жанров: эпистолярного романа и очерка, театральной рецензии и послания” (*там же*, 14). П. Бухаркин также считает, что „приёмы, выработанные в переписке, использовались многими писателями в работе над архитектурой литературных произведений” (Бухаркин 1982: 12), подчёркивая важную „роль писем... в стилистических поисках писателей второй половины XVIII столетия” (*там же*, 13) и утверждая, что и „с точки зрения исторической поэтики, письма оказываются у истоков тенденции, приведшей к прозе конца столетия” (*там же*, 14). Подобные утверждения можно найти и у М. Тетени (Teteni 1983: 229) и Н. Букс (Bukhs 1985: 361).

Таким образом, развитие русской литературы конца XVIII в. ставится в почти полную зависимость от развития письма, или, другими словами, в развитии литературы выделяются два этапа: накопление опыта и творческие искания в процессе работы над частной перепиской и применение результатов к художественным произведениям; при этом решительная роль отводится первому.

Такой подход ряда серьёзных и вовсе не периферийных современных исследований имеет исключительно важное значение для разработки „образа” русской словесности этой переломной эпохи. О „последствиях” теории Тынянова писала М. Ди Сальво. Она отметила тот факт, что учёный, объясняя возникновение сентиментализма в России исключительно имманентным развитием русской литературы, тем самым разоблачает миф о том, что „вся русская словес-

---

3 Американский учёный же считает, что „like many analogies this one is as misleading as it is helpful”, так как „though letters can playfully explore the possibilities of a language, during the Neoclassical period of Russian literature their playfulness was more *an end in itself* than a means of developing something outside themselves” (Todd 1976: 14, *курсив мой* – Л.Р.).

ность XVIII века является плодом влияния иностранных литератур, сначала французской, затем немецкой и английской” (Di Salvo 1973: XXVI).

Именно эти черты сделали схему развития русской словесности, очерченную Тыняновым, привлекательной и для учёных, очень далеких от формализма. В 1920-е гг. Утверждение самобытности русской литературы XVIII века имело, несомненно, передовое значение и являлось необходимой предпосылкой для понимания крупнейших явлений последующего столетия. Притом критик не отвергал влияния иностранных литератур на русскую, а рассматривал его лишь как „аспект общей проблемы поисков формы новой функциональности” (*там же*), который впоследствии стали недоучитывать или попросту обходить молчанием. В настоящее время, когда „самостоятельность и оригинальность русского литературного процесса” не вызывают сомнений, более плодотворным представляется подход, позволяющий осмыслить важность и этого существенного фактора его развития (Рак 1990: 4-5).

Другой аспект, способствующий, как нам кажется, успеху этой теории в России в 1960-е годы и далее, состоял в утверждении неразрывной связи литературы с бытовой действительностью, с той „жизнью”, фрагментом которой и являются письма. Это оправдывало и узаконивало обращение к до сих пор „запретным” жанрам и писателям в эпоху, когда ещё обязательным было провозглашение „реализма”<sup>4</sup>.

Правда, уже в 1969, а затем и в 1972 г., Р. Лазарчук замечает, что „исследователей интересуют лишь автореминисценции из писем в литературе; другая сторона [процесса – Л.Р.] (из литературы в письма) игнорируется” (Лазарчук 1972: 12), и в семейной переписке Муравьёва и Капниста автор подчёркивала и моменты „«присвоения»» «чужих»»страстей и языка романа” (Лазарчук 1979: 89). На

4 Ср. ещё у П. Бухаркина: „близость «эпистолярного» и «художественного» миров писателей 1760-1770-х гг. свидетельствуют о важных изменениях, произошедших в отношении искусства к жизни. (...) Литература и литературный быт обнаруживали тенденцию к слиянию. Отсюда тянутся нити к романтизму, с его стремлением подчинить жизнь искусству (жизнетворчество), и к реализму, старающемуся в адекватных формах воссоздать объективную жизнь” (Бухаркин 1982: 15).

наш взгляд, замечание, что письма мыслятся их авторами как литературные тексты (Лазарчук 1972: 8; см. и Кулакова 1939: 41, Макогоненко 1980: 34) и что в этом статусе они подвергаются влиянию литературы, могло бы натолкнуть на мысль, что и художественные произведения своим главным ориентиром должны иметь литературу, а не переписку, однако в последующих исследованиях основная схема осталась и остаётся непоколебимой.

Если изучение писем „как литературного факта” остаётся бесспорным завоеванием современной науки, встаёт вопрос, правомерно ли истолкование литературы последней четверти XVIII в. лишь как продолжения переписки, как запоздалого внешнего проявления тех процессов, которые уже имели место в письмах.

Мы постараемся наметить ответ на него не в теоретическом плане, а на основе анализа некоторых особенностей литературного и эпистолярного творчества писателя, находящегося в центре большинства перечисленных работ и более других, казалось бы, дающего повод для такого рода выводов, Михаила Никитича Муравьёва (1757-1807). Наша задача – проверить, на самом ли деле, а если да, то в какой мере, „приёмы” и „принципы конструкции”, применённые писателем в своих художественных произведениях, восходят к его семейной и дружеской переписке. Объективная, но неосознанная польза, которую мы все извлекаем из частого упражнения в любого типа писании (ср.: Макогоненко 1980: 16), естественно, будет только подразумеваться.

Если в современных исследованиях, посвящённых данной теме, Н. Карамзин потерял „звание” зачинателя процесса превращения письма в литературный факт и стал представителем момента „кризиса”, когда „частное письмо... перестаёт быть «исходной ступенью», «начальным моментом» творчества: переписка Карамзина почти не даёт больших, значительных выходов в его поэзию и прозу” (Лазарчук 1972: 11), то Михаил Муравьёв играет в них важнейшую роль. По мнению исследователя, „переписка Муравьёва – один из тех случаев, когда эти процессы предельно обнажены, когда связь письма и литературы проступает в формах чётких и ясных, выражается внешне – в обилии повто-

ряющихся «единиц» (поэтических формул, образов, фраз)” (*там же*, 12).

Неизданные письма и „творческие дневники” составляют значительную (в количественном и эстетическом отношении) часть творческого наследия Муравьёва; впрочем, и большинство художественных произведений, лирических стихотворений и воспитательной прозы было опубликовано после смерти писателя, в начале XIX века, под редакцией Карамзина, Жуковского и Батюшкова (Муравьёв 1810, 1815, 1819-20) или уже в наше время, благодаря усилиям Л. Кулаковой, И. Фоменко, Л. Алехиной (Муравьёв 1967; Фоменко 1981; Алехина 1990). Это обусловлено своеобразием творческой судьбы автора.

Муравьёв вступил на литературную арену в начале 1770-ых гг. как поэт-классицист, ученик В.И. Майкова и М.М. Хераскова, выпуская за свой счёт серию маленьких сборников и брошюр. Но уже во второй половине 1770-ых гг. он перестал довольствоваться следованием учителям и начал фазу интенсивного „экспериментаторства”, испытывая свои силы в самых разнообразных жанрах, от философских размышлений (Муравьёв 1970) до „лёгких стихотворений”, от дружеских посланий до баллад в народном духе, от комических опер до сентиментальных комедий или повестей. Преобладающее большинство этих „опытов” осталось неизданным. С 1780-ых гг. писатель стал выступать в печати все реже и реже, а после вступления на службу при дворе, в качестве „кавалера” в. к. Константина и преподавателя внуков Екатерины II (1785-1787), он печатал почти исключительно свои педагогические работы, предназначенные для закрытого пользования двора.

С другой стороны, такой человек, как бы отказывающий себе в любой форме диалога с публикой, тщательно собирал и бережно хранил для потомков огромную массу рабочих тетрадей, творческих дневников и писем, писавшихся при всякой разлуке на протяжении всей жизни любимым отцу и сестре Федосье, затем ей и мужу, Сергею Луину, и, наконец, молодой жене Екатерине Фёдоровне. Исключая деловую переписку, можно перечислить двадцать основных циклов муравьёвских частных писем от 1776-1781, 1787,



1788-1793, 1795, 1797 гг.<sup>5</sup>, из которых опубликована только серия писем с мая 1777 по март 1778 г. (Муравьев 1980).

В последнее время внимание исследователей привлекают, с одной стороны, такие произведения, как своеобразные *Дщицы для записывания* (Муравьев 1970; см.: Teteni 1979; Фоменко 1981; Bukhs 1985), малоизвестные или неизданные *Утренняя прогулка* и разные „путешествия” (Drage 1978: 139; Фоменко 1981) или давно популярные *Эмилиевы Письма* и *Обитатель Предместия. Периодические листы*<sup>6</sup> (Муравьев 1979, 1987; см.: Орлов 1977; Drage 1978: 197-202; Bukhs 1985), а с другой – соотнесённые с ними „дневники” (Фоменко 1981, 1984) и письма (Teteni 1983; Фоменко 1984: 66-68; Bukhs 1985).

Уже в 1939 г. Л. Кулакова наметила основные черты интерпретации их соотнесённости. Цитируя слова Муравьева, написанные на обороте письма его лучшего друга, писателя В.В. Ханыкова, в которых звучит „осознание переписки как своеобразного романа” (Кулакова 1939: 41)<sup>7</sup>, она показала установку на „литературность” его частной переписки<sup>8</sup>,

5 Почти все они объединены в тетради. Большинство из них хранится в Отделе Письменных Источников Гос. Исторического Музея (ОПИ ГИМ), в Рукописном Отделе Института Русской Литературы (РО ИРЛИ) и в Государственном Архиве Российской Федерации (ГАРФ).

6 Общеизвестный текст *Эмилиевых Писем* (Муравьев 1815: 59-195; 1819-20: 125-251) является на самом деле посмертной компиляцией двух отдельных произведений, *Эмилиевых Писем* (Муравьев 1790 а) и *Берновских Писем* (1793). В последнее входили четырнадцать писем, посвящённых литературной тематике (ср.: Rossi 1994). Вместе с „периодическим изданием” *Обитатель предместия* (Муравьев 1790 б) два миниатюрных эпистолярных романа составляли настоящую трилогию воспитательных повествований для молодых князей.

7 Запись читается на обороте письма от 28 февраля 1779 г. и относится к 1780-81 гг. Приведём её целиком: „Переписка друзей не в одно только время продолжения её полезна. Это история сердец, чувствований, заблуждений. Роман, в котором мы сами были действующими лицами” (ОПИ ГИМ, Ф. 445, ед. хр. 232, л. 12 об.). В самих письмах Муравьев часто уподобляет переписку роману или повести.

8 „Литературность” писем Муравьева, однако, в основном расценивается отрицательно, как „неискренность” или „театральность” (ср.: „Муравьев... рассматривает свое чувство, дробит его, под-

утверждая, что, действительно, в письмах к сестре и отцу 1777-1779 гг. „вырабатывается Муравьев писатель. Это ещё не совершенные, но уже литературные произведения; это – школа. Если это ещё не роман, то подготовительные материалы во всяком случае: в них есть герой, есть тема” (*там же*, 40). Больше всего здесь нас интересует мысль о том, что „оттенок нравоучения, теоретические рассуждения, литературные высказывания, умеренно восторженный тон и, наконец, фразеология переписки переходят в поздние произведения Муравьева – *Обитатель Предместия*, *Эмишевы Письма* и даже в начале *Писем к молодому человеку*” (Кулакова 1947: 461).

Несмотря на внешнюю близость, в своих положениях Р. Лазарчук несколько расходится со своей предшественницей. Она определяет муравьевскую переписку как настоящий „психологический роман” и явно предпочитает её как работам известных современников, так и литературной продукции самого писателя (см. ниже). Исследовательница пишет: „письма Муравьева стали первым «романом» о герое своего времени (1770-1780-ых годов), герое чувствительном, интеллектуальном, рвущемся к добродетели и просвещению, типе определённой культуры, более сложном и разностороннем, чем первые портреты его в прозе (Н.Ф. Эмин, *Роза. Полусправедливая повесть*, 1786)” (Лазарчук 1972: 8).

Развивая указания Ю. Тынянова и Н. Степанова<sup>9</sup>, исследовательница затем утверждает, что „письмо ускорило процесс распада старой классицистической эпistolы и приблизило рождение дружеского послания” (*там же*, 14), и у ис-

---

вергает анализу, может быть, *черезчур сильному для настоящей искренности*. Есть места, где кажется, что автор любит себя... и, несмотря на всю интимность, (...) рассчитывает на постороннего читателя” (Кулакова 1939: 40, *курсив мой*, Л.Р.); „обычно вслед за таким подъёмом снижение тона, как будто Муравьев сам чувствует его театральность”; „ирония говорит о том, что Муравьев сознавал зависимость своей переписки от литературы и порой стремился преодолеть её” (*там же*, 41).

9 Ср.: „Весьма вероятно, что дружеское послание вырастает из тех же тенденций, что и стиховые вставки, и так же, как и они, питается элементами домашней семантики и устной речи” (Степанов 1926: 90).

токов процесса видит творчество именно Михаила Никитича: „Муравьёв превратил своё частное письмо в явление литературы; он же создал и первые образцы дружеского послания в России” (*там же*).

Кроме „основных конструктивных особенностей писем”, о которых говорил и Тынянов („мозаичность структуры, раскованность и свобода, непреднамеренность переходов от одной темы к другой, перебои в развитии темы, недоговорённость, намёки и «домашняя» семантика”) (*там же*), по мнению Р. Лазарчук, в развитии нового жанра решающую роль играло и типичное для письма „острое ощущение живого адресата”: „дружеское послание Муравьёва заменило адресата эпистолы (...), адресата только названного, не ставшего собеседником (...), конкретным человеком, дав ему индивидуальную характеристику” (*там же*, 15).

Конкретное тому подтверждение мы находим в предисловии Л. Кулаковой к собранию *Стихотворений Муравьёва*, где цитируется начало известного *Послания о легком стихотворении. К А.М. Брянчанинову. 1783*:

„Любовных резвостей своих летописатель,  
Моих нежнейших лет товарищ и приятель,  
Что делаешь теперь у Северной Двины?”  
(Муравьёв 1967: 217),

повторённое Батюшковым в его *Послании к Н.И. Гнедичу* (1805). Исследовательница утверждает, что „конечно, вопрос: „что делаешь теперь у Северной Двины” или „что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях” можно найти в миллионах писем, не имеющих отношения к литературе, но в том-то и дело, что этот прозаический бытовой вопрос в русском поэтическом произведении впервые задан Муравьёвым и повторён Батюшковым” (Кулакова 1967: 33).

Однако этот „прозаический бытовой вопрос” восходит не к какому-либо письму, написанному Михаилом Никитичем приятелю Афоне (Афанасию Матвеевичу), а к четвёртой эпистоле первой книги Горация:

„Albi, nostrorum sermonum candide iudex,  
quid nunc te dicam facere in regione Pedana?”.

Доказательством того, что литературность и источник формулы осознавались писателями, её применяющими, является факт, что даже когда она звучит в „настоящем” дружеском письме, она влечёт за собой целый ряд античных образов. Вот письмо Батюшкова Гнедичу от 19 марта 1807 г.: „Что ты делаешь на Исаакиевской площади? Да мир ниспустится на твою сень! Да с миром пребудут твои *лары и пенаты* и все домашние боги, и вся утварь от Гомера до у[рильни]ка!” (Батюшков 1885-1887: III: 9; *курсив мой*, Л.Р.)<sup>10</sup>.

Итак, источники новаций, введённых Муравьёвым в русскую литературу, по-видимому, следует искать скорее в области той богатой европейской традиции стихотворных посланий, собраний писем, эпистолярных романов, которую автор хорошо знал и ценил, чем в области его переписки. Несмотря на наличие отдельных словесных совпадений между художественными произведениями и письмами (Лазарчук 1979: 87; Макогоненко 1980: 34), думается, что едва ли могло обращаться к *собственной* переписке в поисках альтернативных форм поколение писателей, остро ощущающих недостатки своего эпистолярного стиля и сознательно старающихся усовершенствовать его, учась у западных романистов и авторов писем.

„Сколько бы желал я поговорить с вами к удовольствию моего сердца! Чтобы чувства его ничего не потеряли в изъяснении! Я не имею нежной и сладостной кисти сочинителя Инков”<sup>11</sup>, – пишет Муравьёв любимой сестре в 1777 г. (Муравьёв 1980: 276). А друг В.В. Ханыков сообщает ему: „Pour revenir donc à notre Héloïse, que je lis afin de me former dans le style épistolaire...” (письмо от 17/1/1780 г.; ОПИ ГИМ, Ф. 445, ед. хр. 232, л. 15 об.).

В своей статье о прозе Муравьёва Н. Букс утверждает, что „dans sa correspondance... il subit visiblement l'influence des romans épistolaires de Richardson et de Rousseau” (Bukhs 1985: 361), а дальше показывает, как фигура отца-адресата „a été élaborée sous la forte influence de la correspondance de Racine père

10 Заметим, кстати, неестественность такой формулировки бытового вопроса.

11 В это время Муравьёв восторгался романом Мармонтеля, который останется одним из его любимых авторов.

avec son fils Jean-Baptiste, qui est citée dans les lettres de Murav'ev, ainsi que sous celle des lettres de lord Chesterfield à son fils" (*там же*, 362) и как „le portrait littéraire de la soeur revêt les traits psychologiques de l'héroïne du roman sentimentaliste européen" (*там же*, 363). Здесь исследовательница явно не учитывает значения немецких сентиментальных авторов (ср.: Кулакова 1939: 40; Лазарчук 1979: 87), но её подход несомненно плодотворен.

Думается, что рассмотрение как переписки, так и художественных произведений Муравьева в контексте предшествующей и современной европейской словесности не принизило бы значения его творчества в развитии русской литературы, а, наоборот, позволило бы лучше понять сложность и многогранность его фигуры. Но необходимой предпосылкой для такого анализа, а тем более для правильного понимания взаимоотношений эпистолярного и литературного творчества Михаила Муравьева, является полная реконструкция его эволюции в той и в другой области.

Из его эпистолярного наследия, например, детально анализируются почти исключительно одно письмо к Д.И. Хвостову от 8/10/1779 (Лазарчук 1971) и написанные под сильным воздействием литературы сентиментализма и масонского окружения писателя<sup>12</sup> (опубликованный) цикл 1777-1778 гг. (Лазарчук 1972; Бухаркин 1982; Teteni 1983; Фоменко 1984; Bukhs 1985) и (в меньшей степени) две серии 1781 г. (Фоменко 1984: 68)<sup>13</sup>. Тем самым из всего его многостороннего творчества выявляется и приобретает исключительное значение только одна линия.

Между тем небезынтересно, что письма 1776 года, а в особенности приписки в них к сестре, будучи почти лишёнными типичных „сентиментальных мотивов" писем 1777-

12 Нет, кажется, доказательств принадлежности Муравьева к масонству. Видными масонами, однако, были все его учителя и покровители в 1770-х гг.: В.И. Майков, М.М. Херасков, Н.И. Новиков, И.А. Дмитревский, Ф.Г. Карин.

13 Другие же циклы остались в основном источником информации о бытовой жизни самого автора (письма 1778 г.: Кулакова 1976; письма 1789-91 гг.: Фоменко 1981: 127) или его друзей, Н.А. Львова, Ф.Г. Карина и Д. Фонвизина (письма 1776 г.: Лаппо-Данилевский 1988; письма 1781 г.: Степанов 1978, 1986).

1778-х гг.<sup>14</sup>, вместе с тем полны тех „стиховых вставок (...), болтовни, «игры со словом», резкости устной речи и пародии», которых, по мнению Н. Степанова, и „Карамзин ещё не выдвигает” (Степанов 1926: 82). Кроме эротических намёков и сквернословия, по стилю они напоминают скорее дружескую переписку арзамасцев<sup>15</sup>. Парафразируя самого Муравьёва, можно сказать, что, наверно, „таинство сих черт чувствования и остроумия, которые становятся двое живее, когда украшены рифмою, украл он у Вольтера и Шолью” (ср.: Муравьёв 1793: 28)<sup>16</sup>, вообще у традиции особого литературного жанра „Lettres en verse et en prose” (Skwarczynska 1937: 342-343)<sup>17</sup>.

А среди писем Луниным 1788-1793 гг. можно найти и образцы определённых „канонических” жанров классической науки письма, глубоко прочувствованные „поздравительные” или „утешительные” послания по случаю рождения или смерти ребёнка, смерти любимой сестры и т.д. (см., например, письма от 5/4/1789: ОПИ ГИМ, Ф. 445, ед. хр. 54, л. 25-26; от 12/6/1793: ОПИ ГИМ, Ф. 241, ед. хр. 35, л. 37-38).

С другой стороны, более глубокое знание творческого пути Муравьёва позволяет преодолеть кажущееся противоречие в определении взаимодействия писем и прозы писателя. Утверждается, что результаты, добытые в переписке, использовались им в художественных произведениях, но между тем замечается, что его письма далеко превосходят его же прозаические сочинения. Р. Лазарчук пишет: „на прозе Муравьёва 1789-1790-ых годов (*Обитатель Предме-*

14 „Родство душ, мгновенное зарождение симпатии, сладостная мечтательность, бесконечная скорбь по потере чувствительности, «нравственное падение» героя и возрождение любовью женщины, (...), культ чистой непорочной души, «убегающей в уединенную сень» (Виланд)” (Лазарчук 1972: 9).

15 Разные „куски” из них переплавлены в реконструкции атмосферы „века Екатерины” в книге Н.Я. Эйдельмана *Твой восемнадцатый век* (Эйдельман 1991: 155-165).

16 Слова взяты из характеристики одного письма друга в *Берновских письмах*.

17 Только Л. Кулакова, не входя в детали, заметила, что „в переписке нашёл отражение утаённый от читателя Муравьёв, восторгавшийся Вольтером и его учениками, писавший по их примеру иронические сказочки и pièces fugitives” (Кулакова 1939: 42).

стия и *Эмилиевы Письма*) лежит печать некой «вторичности», бесконечного «узнавания старого». Она полна реминисценций из дневника и писем... и при этом... несравненно уже, беднее, «обыкновеннее» его «романа в письмах» – самое сокровенное в нём: тонкая вязь настроений, капризы воображения, игра воспоминаний, вечное *Grübeleí*, «раскапывание» своего сердца, недовольство собой, упрёки, – не могло быть «обнародовано» (Лазарчук 1972: 9).

Указанное явление частично зависит от того, что в данном случае сравниваются несопоставимые по времени и задачам тексты, частная переписка молодого человека и „учебные пособия” солидного преподавателя<sup>18</sup>. Между тем новейшие исследования показали, что с циклом писем 1777-1778 гг., по словам Р. Лазарчук, „романом” в письмах Муравьёва, соотносится скорее современный ему неизданный эпистолярный роман, состоящий из пяти писем двух провинциальных девушек (Рукописный Отдел Рос. Национальной библиотеки [РО РНБ], ф. 499, ед. хр. 30, л. 32-33)<sup>19</sup>.

Переписка сентиментальной Лизы и резвой Кати показывает, что и в своей художественной прозе молодой писатель до определенной степени (роман неокончен и фабула только намечена) умел передать разные противоречивые настроения и сознательно использовать „определённые пласты языка в целях более глубокой обрисовки характеров”: „подчёркнуто разговорные обороты письма Кати противопоставлены галлицизмам писем Лизы” (Фоменко 1983: 67). Если образы Лизы и любящего отца могут напоминать сестру и отца писателя, то их взаимоотношения (например, сцены во время болезни), так же как и некоторые ситуации в романе, построены под сильным влиянием *Новой Элоизы*. Об этом и пишет сама Лиза:

---

18 С другой стороны, бытовой опыт показывает, что передать „действительность в единстве «внутреннего» и «внешнего» мира” (Бухаркин 1982: 9), а особенно характер „в движении, в непрерывном развитии” (Лазарчук 1972: 8), – почти естественно в процессе переписки.

19 Текст был „опубликован” впервые в диссертации И. Фоменко (Фоменко 1983: 238-241), а затем в диссертации автора настоящей статьи (Rossi 1992), но, насколько нам известно, в печати о нём никогда не говорили.

„Ах! Я так мало занималась светом и заключала все свои наслаждения в чувствительности моей: и этой отрады лишила сама себя... божественный Руссо! Ты ещё возвращаешь мне счастье вспоминая сновидения мои. Я не могу далее читать его первых писем” (РО РНБ, ф. 499, ед. хр. 30, л. 32 об.).

Но вопрос о так называемых „реминисценциях из дневника и писем” в прозе 1789-1790х гг. заслуживает более подробного рассмотрения. Сохранившиеся черновики и творческие планы *Берновских Писем* (см.: прим. 6), одного из самых значительных произведений этого периода, в котором усматривается большее количество автобиографических деталей, позволяют лучше понять, как в художественном произведении сочетались разнородные элементы, в том числе и как бы заимствованные из бытовой прозы, и как они функционировали.

Вот первый замысел *Берновских Писем*: „Книга для чтений из письмён и нравочения в разных родах литературы. Анализы славнейших писателей. Specimens of Criticism interwoven into Specimens of Morality. Опыты перевода из древних классических писателей” (РО РНБ, Ф. 499, ед. хр. 29, л. 8). Примечательно, что в черновике первого письма „автобиографическому” заглавию *Берновские письма*<sup>20</sup> предшествует заглавие иностранного произведения, возбуждвшего интерес писателя и подсказавшего ему идею написать серию литературных опытов: *Sherlock's Letters* (РО РНБ, Ф. 499, ед. хр. 30, л. 24 об.)<sup>21</sup>.

20 Берново – название имения родственника Муравьёвых, И.П. Вульфа, в Тверской губернии, где молодой Михаил Никитич и его сестра проводили счастливое время. Ср.: „В деревне счастье, кажется, дома. Можно делать милости, садить, строить, кушать хорошо и лучше спать. Я всегда вспоминаю Берново.” (письмо от января 1790 г.: ОПИ ГИМ, Ф. 445, ед. хр. 53, л. 24 об. – 25).

21 Ср.: „Если б можно было приказать себе дарования, тонкость размышления, приятность выражения: такие письма о литературе, вкусе, нравочении, каковы *Шерлоковы*, были бы пленяющим чтением” (РО ГПБ, Ф.499, ед. хр. 29, л. 8 об.). Речь идет о книге *Sherlock's letters – Letters on several subjects, in two volumes*, Dublin 1781 (см.: Rossi 1994: 65-67).



Пестрые литературные и путевые очерки Мартина Шерлока (1750-1797?), однако, служили только отправной точкой в работе Муравьева над *Берновскими Письмами*. Здесь литературные „опыты” объединяются сюжетной рамкой переписки просвещённого и чувствительного дворянина, отдыхающего в деревне. Эта схема, уже использованная писателем в *Эмилиевых письмах*, восходит к *Вертеру*; в письмах из Бернова обнаруживаются и прямые словесные совпадения с романом Гёте. Вспомним мечтания о патриархальном обществе и о природе, одушевлённой древними божествами, чтение „моего Гомера” и „местечко, самое романическое”<sup>22</sup>.

Принципиальное значение имеет и тот факт, что автором писем является уже известный читателям Обитатель предместия (см.: Rossi 1994: 60), что обуславливает восприятие *Берновских Писем* как части более широкого „романа” (*там же*, 74). И только на конечном этапе этому достаточно условному образу Муравьев придаёт глубоко автобиографические черты. Так, пишущий сожалеет о потере „сей возвышенной чувствительности, с которою двадцать лет назад на берегах северной Двины<sup>23</sup> читал (он) в первый раз” Корнелия и Расина (Муравьев 1793: 22). В другом месте он обращается к другу: „воспоминание первых дней дружбы нашей насильственно овладело душой моей. (...) Ты снисходил слушать с извинительным пристрастием дружества влияния ученической музыки моей. Где *Болеслав*<sup>24</sup>, в которого сносил я все движения *Аделаиды дю Геклен*? Столько чтение верховного образца может овладеть воображением и невольным образом увлекать к подражанию!” (Муравьев 1793: 30 об.-31).

Было показано, что из возможных вариантов эпистолярного повествования роман типа *Вертера* (письма-дневник одного героя, обращённые к другу, который не принимает

---

22 Ср. аналогичные образы и выражения в третьем, четвёртом и последнем письмах первой книги *Страданий молодого Вертера*.

23 Т.е. в Архангельске, где Муравьевы жили с февраля по декабрь 1770 г. Аналогичные сцены описаны в стихотворении *Письмо к \*\*\**, конца 1770-х гг. (Муравьев 1967: 216-217).

24 Муравьев начал трагедию *Болеслав*, на которую он возлагал все свои надежды поэтической славы, в 1775 г. и работал над ней с перерывами до начала 1780-ых гг., а затем ещё в 1790-ые годы.

участия в действии) более всех способствует отождествлению читателя с адресатом, а, следовательно, и его нравственному сочувствию (Jost 1967: 57). В *Берновских письмах* конкретные детали якобы „общего” прошлого ещё более усиливали в читателе впечатление, что он введён в самый интимный круг, что он сопричастен самым сокровенным воспоминаниям автора, и его заставляли питать к нему чувства симпатии и доверия.

Если в данном случае это служило преимущественно воспитательным целям Муравьёва, то возможность чисто литературными средствами воссоздать атмосферу дружбы и интимности между автором и читателем приобрела особое значение для писателей-профессионалов, таких как Карамзин, которые обращались уже не к кружку „сродственных душ”, а к неизвестной им и их не знающей „публике” (Hammarberg 1991: 12). Сложность задач, решаемых здесь Муравьёвым, и разнообразие „составных элементов” *Берновских Писем* делают неприменимыми к ним и суммарные определения типа „целиком предсказанные в переписке” (Кулакова 1939: 42), и более продуманные суждения Р. Лазарчук о муравьёвской прозе 1789-90-ых гг. как о бледном отражении „настоящего” „романа” переписки<sup>25</sup>.

Вообще, хотя этот беглый обзор некоторых аспектов творчества Михаила Муравьёва не претендует на полноту и не может исчерпать все случаи взаимодействия писем и художественных произведений, думается, что он всё-таки даёт нам некоторый новый материал для решения сложного вопроса.

Р. Лазарчук утверждала, что „письмо и литература – эти две «словесности» – существуют в конце XVIII – начале XIX вв., сохраняя свое единство и «автономию», но непрерывно взаимодействуя и взаимообогащаясь” (Лазарчук 1972: 12). Наш анализ подтверждает такое определение письма, но выявляет и тот факт, что в системе жанров эпохи этим „двум словесностям” всё-таки выпадали разные

---

<sup>25</sup> Разницу между частными письмами, вторгающимися в литературу, и чисто литературными произведениями, имитирующими документальную прозу, подчеркнул и П. Бухаркин на примере французских писем Фонвизина Панину и эпистолярных „путешествий” Муравьёва и Карамзина (Бухаркин 1982: 18-20).

задачи (ср.: Todd 1976: 14). Поэтому их пути не всегда совпадали, то одна, то другая „опережала”, и чаще, чем думалось, „обогащение” обеих происходило за счёт иностранной литературы. Главное, те же элементы, взятые как из литературы, так и из „жизни”, в каждой из них функционировали по-разному, сочетаясь и разъединяясь и приобретая всё новые и новые формы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Алехина, Л.А.  
1990 *Архивные материалы М.Н. Муравьёва в фондах отдела рукописей, в: Записки отдела рукописей, М. 1990: XLIX: 4-87.*
- Батюшков, К.Н.  
1885-1887 *Сочинения, СПб. 1885-1887: I-III.*
- Бахтин, М.  
1975 *Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет, М. 1975.*
- Бухаркин, П.Е.  
1982 *Письма писателей XVIII века и развитие прозы 1740-1780 гг., Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филологических наук, Л. 1982.*
- Золян, С.Т.  
1988 *„Я” поэтического текста: семантика и прагматика (к проблеме лирического героя), в: Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения, Рига 1988: 24-28.*

Зорин, А.Л.

1981 *Письма и судьбы*, „Вопросы литературы”, 1981: X: 258-262.

Кулакова, Л.И.

1939 *М.Н. Муравьев*, „Учёные записки Ленинградского Гос. Университета”, 1939: XLVII: 4-42.

1947 *Муравьев*, в: *История русской литературы в десяти томах*, М.-Л. 1947: IV: 454-461.

1967 *Поэзия М.Н. Муравьева*, в: *Муравьев, М.Н., Стихотворения*, Л. 1967: 5-49.

1976 *Н.И. Новиков в письмах М.Н. Муравьева*, в: *XVIII век*, Л. 1976: XI: 16-22.

Лазарчук, Р.М.

1969 *О соотношении эпистолярной практики и художественного творчества М.Н. Муравьева*, в: *Первая карагандинская областная конференция молодых учёных. Тезисы и доклады*, Караганда 1969: 323-324.

1971 *М.Н. Муравьев – критик (по материалам переписки поэта)*, „Русская и зарубежная литература”, Алма-Ата 1971: II: 3-8.

1972 *Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы*, Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филологических наук, Л. 1972.

1977 *Проза Радищева и традиция эпистолярного жанра*, в: *XVIII век*, Л. 1977: XII: 72-82.

1979 *Переписка Толстого с Т.А. Ергольской и А.А. Толстой и эпистолярная культура конца XVIII века – первой трети XIX века, в: Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль, Л. 1979: 85-98.*

Лаппо-Данилевский, К.Ю.

1988 *Новые данные к биографии Н.А. Львова (1770 гг.), „Русская литература”, 1988: II: 135-142.*

Макогоненко, Г.П.

1980 *Письма русских писателей XVIII века и литературный процесс, в: Письма русских писателей XVIII в., Л. 1980: 3-41.*

Муравьев, М.Н.

(1790)а *Эмилиевы письма – Тетрадь для сочинений, (СПб. Имп. тип. 1790), экземпляр Государственной Публичной Исторической библиотеки (ГПИБ).*

(1790)б *Обитатель предместья. Периодические листы, I, 2 августа 1790... (СПб. Имп. тип.), единственный экземпляр в ГПИБ.*

(1793) *Берновские письма, (СПб. имп. тип., 1793), единственный экземпляр в НБ МГУ.*

1810 *Опыты Истории, Словесности и Нравоучения. Сочинения Михайла Никитича Муравьева, изданные по его кончине, часть I и II, Москва, в Университетской типографии, 1810.*

1815 *Обитатель предместья и Эмилиевы письма, Сочинение М.Н. Му-*

- равьёва*, в Санкт-Петербурге, напечатано при Имп. Академии Наук 1815.
- 1819-20 *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьёва*, СПб. 1819: I-II; СПб. 1820: III.
- 1967 *Стихотворения*, ред.: Л.И. Кулакова, Л. 1967.
- 1970 *Дщицы для записывания*, в: *Русская литература*, сост.: Г.П. Макогоненко, Л. 1970: 543-545.
- 1979 *Обитатель предместья* (в сокр.), в: *Русская сентиментальная повесть*, сост.: П.А. Орлов, М. 1980: 70-88.
- 1980 *Письма отцу и сестре 1777-1778 гг.*, в: *Письма русских писателей XVIII века*, Л. 1980: 259-354.
- 1987 *An Inhabitant of a Suburb*, перевод С.L. Drage, "Russian Literature Triquarterly", 1987: XX: 111-132.
- Орлов, П.А.  
1977 *Русский сентиментализм*, М. 1977: 191-197.
- Письма*  
1980 *Письма русских писателей XVIII века*, Л. 1980.
- Рак, В.Д.  
1990 *Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII века (Иностранные источники, состав, техника компиляции)*, Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора филологических наук, Л. 1990.

Степанов, В.П.

1978 *К истории литературных полемик XVIII века (Обед Мидасов), в: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 г., Л. 1978: 131-146.*

1986 *Пolemика вокруг Д.И. Фонвизина в период создания Недоросля, в: XVIII век, Л. 1986: XV: 204-229.*

Степанов, Н.Л.

1926 *Дружеское письмо начала XIX века, в: Русская проза, The Hague 1963: 74-101 (репринтное воспроизведение издания Л. 1926).*

1964 *Письма Пушкина как литературный жанр, в: Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию ак. В.В. Виноградова, М. 1964: 450-456.*

Тынянов, Ю.Н.

1977 *Поэтика, история литературы, кино, М. 1977.*

Фоменко, И.Ю.

1981 *Из прозаического наследия М.Н. Муравьёва, „Русская литература”, 1981: III: 116-130.*

1983 *Проза М.Н. Муравьёва. Из истории русской прозы последней трети XVIII в., Диссертация на соискание уч. степени кандидата филологических наук, Л. 1983.*

1984 *М.Н. Муравьёв и проблема индивидуального стиля, в: На путях к романтизму, Л. 1984: 52-70.*

*Slavica tergestina 2 (1994)*

- Эйдельман, Н.Я.  
1991 *Твой 18-й век. Прекрасен наш союз*, М. 1991.
- Bukhs, N.  
1985 *Les éléments novateurs dans la prose de M.N. Murav'ev*, „Revue des Études Slaves”, LVII/3, Paris 1985: 25-32.
- Di Salvo, M.  
1973 *Introduzione*, в: J.N. Tynjanov, *Formalismo e storia letteraria*, Torino 1973: V-XXXI.
- Drage, C.L.  
1978 *Russian literature in the Eighteenth Century*, London 1978.
- Hammarberg, G.  
1991 *From the Idyll to the Novel: Karamzin's Sentimentalist Prose*, Cambridge 1991.
- Jost, F.  
1967 *Problèmes de structure narrative de la "Nouvelle Héloïse" à "Werther"*, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1(18), Łódź 1967: X: 51-90.
- Rossi, L.  
1992 *Michail Murav'ev narratore. Alle origini della prosa del Sentimentalismo russo*, Dottorato di ricerca in slavistica, quarto ciclo, tesi in letteratura russa, 1991-1992.  
1994 „Маленькая трилогия” Михаила Муравьёва, „Russica romana”, 1994: I: 51-78.



- Skwarczynska, S.  
1937 *Teoria listu*, Lwów 1937.
- Teteni, M.  
1979 *Раннее произведение русского сентиментализма*, „Studia slavica Academiae Scientiarum hungaricae”, Budapest 1979: XXV(1-4): 419-426.  
1983 *Письма родным М.Н. Муравьёва (1777-1778) и их роль в становлении его литературного творчества*, в: *Russica. In memoriam E. Balczky*, Budapest 1983: 215-231.
- Todd, W.M. III  
1976 *The Familiar Letters as a Literary Genre in the Age of Pushkin*, Princeton New Jersey 1976.

## ABSTRACT

The problem of the relationship between Russian epistolary and fictional prose during the last quarter of the eighteenth century arose as a consequence of Yu. Tynyanov's happy intuition that in certain epochs familiar letters could achieve the status of literary genre. In recent studies familiar correspondence has appeared as almost the only factor prompting the development of Russian sentimentalist prose. In this article a thorough investigation of Mikhail Muravyev's published and unpublished letters and prose fiction (1776-1797) shows that the relationship between these two literary forms was far more complicated, because in fact on the one hand they both owed much to classical and contemporary West European sources and, on the other, in each of them the same elements had different functions and "worked" in a different way.